

чеченской». И дальше – о второй половине 90-х годов: *«Второй срок Ельцина я воспринял, коротко говоря, как маразматический»*.

Как видим, и участники разведывательных интервью, и автор дневника, и авторы нарративов схожим образом выделяют и интерпретируют ключевые точки изучаемого исторического периода. Здесь нужно сделать одну оговорку. Бесспорно, есть много людей, критически воспринявших те перемены в стране, которые начались в стране после 1985 года и получили на официальном языке того времени название «переход к политике перестройки и гласности». Но те авторы, чьи суждения приводились нами, были людьми, которые первоначально отнеслись к этим переменам с энтузиазмом. И тем значимее их последующее разочарование в том, как развивались события нашей истории дальше. Путь от надежд к разочарованию – отчетливо просматриваемый тренд их исторической памяти, обращенной к периоду с середины 80-х до конца 90-х годов.

Завершая экспозицию результатов исследования, обратим внимание, что распад СССР остался в коллективной памяти как негативное событие. Однако сами формально-политические события, которые сопровождали распад СССР, респондентам не запомнились. Такие события, как чеченская война (и первая, и вторая) и августовский путч 1991 года часть россиян предпочли бы забыть, вытеснить из коллективной памяти. Следует особо отметить разочарованность интеллигенции в результатах той волны модернизации, что припала на конец XX века.

Тем не менее, демократизация общества и становление рыночной экономики чаще оцениваются респондентами все же как положительные тенденции. Свидетельство тому – рейтинг сохранившихся в актуальной памяти россиян политиков, которые принесли пользу России. Среди событий, которые оказали существенное влияние на жизнь страны, респонденты, прежде всего, выделяют «вывод войск из Афганистана», а среди отрицательно воспринимаемых событий первое место занимает «начало второй чеченской кампании». Это может говорить о том, что так или иначе, события, связанные с безопасностью жизни населения выделяются как значимые в большей степени, нежели события экономические или общеполитические.

Список источников

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. №2-3 (40-41). 2005 г. // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>.

Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. №4. 2000. С. 3-14 // <http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM>.

Травмированная память как ресурс формирования коллективной идентичности: случай бывших афганцев

Виктория Семенова

«Работа памяти» включает в себя различные культурные и политические практики, которые делают возможным осмысление значения прошлого в свете настоящего. О месте и роли памяти в воспроизводстве прошлого для нужд настоящего написано уже немало, но сложным и недостаточно осмысленным остается вопрос о социальных практиках, «технологиях работы памяти»: как эти практики обретают социальную жизнь в объективированных образах, представлениях, устных и письменных повествованиях, коллективных ритуалах.

Приступая к рассмотрению проблематики памяти, необходимо первоначально уточнить, о каком уровне функционирования памяти здесь идет речь. Исследователи различают три уровня памяти, предлагаемые методологии и ракурсы изучения памяти непосредственно связаны с тем или иным уровнем рассмотрения: социальная (или память на уровне нации), коллективная и индивидуальная память (П. Нора, М. Хальбвакс, З. Фрейд, Дж. Ассман). История, как правило, ассоциируется с государством и официальными хрониками, но существует и понятие об общественной или коллективной истории, «народной памяти», прежде всего, о «живой» памяти участников

определенных событий. Такая коллективная память не есть совокупность отдельных памятей, но, как утверждал М. Хальбвакс [Хальбвакс, 2005], обусловлена обществом и формирует ее рамки, исходя из общественных доминант: люди переписывают свои воспоминания в поле социального в соответствии с воспоминаниями других: одни аспекты из памяти исчезают или приглушаются, в то время как другие становятся более значимыми и остаются в памяти. Этот же процесс «переписывания» памяти по-разному происходит, если память рассматривать как временной феномен, в зависимости от степени временной удаленности от событий: со временем одни аспекты прошлого, значимые сразу или в первые годы после «свершившегося» (постпамять), впоследствии, с отдалением во времени переходят на периферию, другие приобретают новую значимость.

Наиболее интересным для социологов и наименее изученным является феномен «работы памяти»¹: каковы технологии запоминания и забвения, через какие механизмы она осуществляется и какими методами возможно изучение коллективных форм по «работе памяти». Такое изучение невозможно вне концентрации внимания на конкретном событии или процессе, которое становится объектом «вспоминания» со стороны отдельных акторов. Только тогда становится возможным говорить о конкретном дискурсе памяти и субъектах меморизаторской деятельности.

В данном случае это будет рассматриваться на примере сообщества бывших афганцев на основе дискурсивного анализа текстов и языка бывших афганцев, поскольку в их коллективной памяти происходило и происходит постоянное «переписывание» одного общего травматического события прошлого — участия в войне в Афганистане в 1979-1989 годах. Переосмысление событий прошлого в воспоминаниях бывших афганцев происходит на фоне неустойчивого общественного дискурса по отношению к этой войне. Анализ осуществляется в основном на базе нарративной формы их воспоминаний в процессе глубинных биографических интервью. Основные направления риторики воспоминаний бывших афганцев рассматриваются на фоне общей официальной риторики относительно участников Афганской войны.

¹ Понятие «работа памяти» ассоциируется прежде всего с психологическим рассмотрением памяти в концепциях психоанализа (З. Фрейд). В парадигме коллективной памяти (П. Рикер) такая «работа» понимается как проблема преодоления травматической памяти в результате мер терапевтического воздействия: здесь речь идет об социальном диалоге относительно болевых точек памяти, о критическом осмыслении травмы, о скорби и процессе примирения (П. Рикер).

Привлечение воспоминаний бывших афганцев представляет интерес как случай травматических воспоминаний, когда совместно пережитая травма стала базой для формирования их коллективной идентичности.

Память и коллективная идентичность

Если говорить о связи коллективной идентичности и памяти, то можно сказать, что память как прошлое, пережитое сообща, является сердцевинной идентичности, понимаемой как единение во временной протяженности, в том числе на базе прошлого. Поль Рикер, характеризуя идентичность, подчеркивал, что с памятью связаны определенные амбиции, претензия на то, чтобы хранить верность прошлому [Рикер, 2004. С. 43]. Память выступает критерием идентичности, она мобилизует, привлекает прошлое для подтверждения общности теперешней позиции по принципу: «*помнишь, как мы вместе...*». Более глубоко рассуждая о способе конструирования коллективной памяти как основы идентичности и выстраивании «коллективного» на основе индивидуальных воспоминаний, Ассман разводит два способа и смысла коллективных интеракций: коммуникации относительно образа «прошлого» в повседневных неорганизованных разговорах (как повседневное общение, например, долгие беседы попутчиков в транспорте по поводу «былого») — это он называет коммуникативной памятью — и коммуникации, которые являются основой общей культуры сообщества, где память приобретает статус компонента общей культуры — культурную память [Ассман, 2004]. При этом Ассман, как и Рикер, обращается к анализу мобилизационной составляющей коммуникаций второго типа, где память превращается в активный инструмент при конструировании коллективного образа «себя». Здесь память *используют*, может быть даже ею *манипулируют* как ресурсом для достижения других, коллективных целей единения.

Идентичность, построенная на едином «нормативе» воспоминаний, превращает, таким образом, память в механизм регуляции: тогда вспоминающие эмоционально окрашивают прошлое в позитивные или негативные цвета, подразумевая под этим «что хорошо» и «что плохо» для престижа данной группы; память становится инструментом реконструированное прошлых событий в угоду интересам настоящего; она привносит некоторые регулятивные правила при выстраивании повествований и образов прошлого (как надо и что не надо вспоминать); и, наконец, такая память не монологична, она все время изменяется и формируется в диалоге с «другими»,

внешними по отношению к сообществу, социальными обстоятельствами и акторами [Ассман, 2004]. Таким образом, коллективная память становится организованной «нормативной» структурой, вписанной в общую матрицу коллективной идентичности, подтверждающей ее при помощи аргументов «прошлого».

Если обратиться к памяти как составляющей в структуре идентичности, то последнее ее свойство, свойство к изменению, перепиыванию в диалоге с «другими» происходит, по мнению Рикера, вследствие той же причины: страха перед вторжением, насилием со стороны «другого», страхом враждебного вмешательства, отсюда — процессы манипулирования, злоупотребления памятью, забвение одних аспектов и увековечивание других [П. Рикер, 2004]. Такие манипулирования являются следствием напряжений между двумя силами: претензией на идентичность сообщества и публичными проявлениями памяти, как внешними факторами, провоцирующими коллективную тревогу. В этом отношении изъяны памяти (забвение, умалчивание, недоговоренности) должны восприниматься не как патология, но как теневая сторона освещенного пространства памяти [Рикер, 2004. С. 43].

В отношении дискурса памяти бывших афганцев из этого следует, что первичной точкой их коллективной идентичности является воспоминание об участии в Афганской войне как жизненный опыт, пережитый совместно и вписанный в их общий биографический проект. Но каким образом воспроизводится эта память в нарративах их жизненного повествования? Можем ли мы говорить о структурировании этой памяти как основания их коллективной идентификации? И являются ли эти презентированные воспоминания памятью собственно о событиях того времени, или же этот нарратив является эпизодом, встроенным в их теперешнюю нарративно-презентированную идентичность? Как формируется коллективный дискурс памяти? Эти вопросы и обсуждаются в данной статье.

Воспоминания как нарратив

В нашем исследовании воспоминания бывших афганцев исследовались в рамках глубинных биографических интервью, где вовлеченность в войну присутствовала только как эпизод биографического пути. Заметим, что *вовлеченность* скорее как пассивная форма «призыва» по приказу, чем как добровольное участие в войне — поскольку это произошло в большинстве случаев не по собственной воле бывших афганцев: «*пришла разнарядка*», «*пришел приказ*», «*вызвали*», «*мне было объявлено*», хотя, как известно из других ис-

точников, встречались и добровольцы. В общей преамбуле нарратива респондентам предлагалось рассказать о своей биографии, а также достаточно последовательно описать свой военный опыт (как призывали, первые впечатления, наиболее яркие эпизоды, возвращение домой и послевоенная адаптация). Кроме того, в последней, полуструктурированной части интервью их также просили рассказать о том, когда, где и как они со своими бывшими сослуживцами обсуждают тему Афганской войны и обмениваются воспоминаниями. Таким образом, в интервью ¹ нарративная память о прошлых событиях, воспоминания о военном опыте были приписаны к тематике «биографического», по принципу их встроенности в общий жизненный мир того или иного респондента. То есть вереница воспоминаний выстраивалась на основе значимости того или иного аспекта военного опыта для общей жизненной судьбы человека, и нарратия о конкретных событиях обрастала обобщениями и личными переживаниями по принципу «плотного описания», эмоциональное иногда перекрывало событийное.

Этот тип «военной» нарратии в рамках биографического интервью интересно сравнить с аналогичным типом рассказов о тех же событиях Афганской войны, которые публикуются на Интернет-сайтах бывших афганцев, где они выстраиваются в совсем иные структуры. Интернет, скорее, воспринимается как пространство публичного (в отличие от персонифицированной интеракции интервьюер-респондент), и на «военизированных» сайтах, посвященных скорее истории, чем памяти, рассказы в большей степени выражали нормативную модель военных воспоминаний: память о событиях, отдельных военных операциях и отношениях начальник-подчиненный.

В нашем случае нарративы воинов-ветеранов были больше сконцентрированы на военной повседневности: где жили, с кем, условия жизни и бытовые трудности, болезни, о друзьях, о погибших, об опыте повседневности — о значении военных эпизодов для своей биографии в целом.

В целом дискурс памяти начинается со слов: «*помню*», «*я вспоминаю*», «*я помню*», «*мы вспоминаем*». Часто употребляется безлично-субъектный дискурс: «*вспоминается*», как некое отстранение своей субъектности от событийности (роль стороннего наблюдателя). К тому же, такая форма вхождения в дискурс памяти свидетельствует о некой неопределенности, непредписанности «вспоминаемого» по отноше-

¹ Глубинные интервью (N=16) собраны в Москве, в основном в рамках мемориального общества бывших афганцев «Паншер», в рамках проекта «Историческая память как механизм идентификации и социализации: сравнение России и Польши» 2009-2011 гг. (рук. В.В. Семенова).

нию к фактологической основе и событийно-последовательному свидетельству очевидца. Эти рассказы, скорее, ближе к полюсу памяти-воспоминания, чем к формату военных мемуаров. Естественно, они фрагментарны: что-то вспоминается, а что-то уже забыто, что-то лежит на поверхности, другое запрято глубоко, и лучше не «раскапывать» этот слой памяти. Такое сопоставление возможных разновидностей меморизаторских рассказов является свидетельством тезиса о множественности и неустойчивости памяти: в разных ситуациях можно получить одну из версий мемориальной наррации. Тактика нарраций о прошлом, об одном и том же эпизоде (событии) может находиться где-то в промежутке между двумя полюсами: полюс изложения событий и полюс обобщений, которые можно назвать «состоянием» (что сделали и что испытали, узнали нового в том или ином конкретном событии) [Рикер, 2004].

При соприкосновении с тематикой памяти достаточно сложным является момент «погружения», вхождения в дискурс памяти, особенно драматической или травматичной памяти — метафорически это можно назвать «скачком» в другую лингвистическую зону. В этом отношении различают два вида памяти: «непроизвольно пришедшее» воспоминание и «воскрешение» в памяти, последнее понимается как определенная духовная работа, которая сопряжена с напряжением, сильными эмоциями и переживаниями. «Вызывание в памяти» можно считать моментальным припоминанием почти на уровне автоматического знания, тогда как «трудное» воспоминание травматических событий требует определенной работы, особенно если память «сопротивляется» «воскрешению» забытого.

В наших интервью с бывшими афганцами мы столкнулись как раз с такой ситуацией сложного «воскрешения» в памяти травматически-непроговоренного опыта, который восстанавливался в рассказе постепенно, с усилиями; такую память можно назвать «закрытой»¹. Субъективное восприятие респондентами этой непривычной для них ситуации «погружения в память» травматического повествования было озвучено нашими респондентами достаточно развернуто:

¹ Аналогичные ситуации непроговоренной «закрытой» памяти характерны для российского контекста. С аналогичной ситуацией мы уже сталкивались раньше, в международном проекте «Рабский труд в Германии», когда интервьюировали женщин Псковской области, угнанных в годы ВОВ в трудовые лагеря в Германию. После возвращения домой в течение долгих десятилетий они, естественно, ни с кем не обсуждали свой травматический опыт. Встреча с интервьюером была, возможно, одной из первых таких возможностей «озвучить» свои воспоминания в коммуникации с другими [см. Nikitina, Rozhdestvenskaya, Semenova, 2010].

...вот, сподвигла ты меня на воспоминания, приходится включать эту память, а она как что-то святое, сокровенное (Интервью И.К.С.);

...вот ты пришла...а так бы и не вспоминал никогда, как-будто не я там был;

...я даже не знаю почему, это со мной впервые... я с вами с первой так разоткровенничался, обычно я это не говорю (Интервью А.С.Г.).

Здесь момент погружения в воспоминания, особенно в те слои, которые обычно не затрагиваются в межличностном общении, предстает как трудоемкое, психически тяжелая «работа» по «поднятию со дна» сознания таких пластов, которые обычно лежат на самой глубине в качестве тяжелого, но очень значимого для респондента груза («святое», «сокровенное») и поднятие таких тяжестей соразмерно для респондентов с подвигом («сподвигла»). Такие ситуации случаются в их жизни нечасто («впервые, вот ты пришла») и являются моментом погружения в иные, несвойственные обыденной жизни пласты общения («разоткровенничался», «включить память», «и не вспоминал бы никогда»). Как следствие, можно задуматься здесь о методологических аспектах этой ситуации общения респондента-интервьюера: интервьюер воспринимается как активно-сопереживающий, которому можно доверить то, что обычно не становится достоянием даже близких людей (эффект заинтересованного внимания со стороны интервьюера). С другой стороны, какова же должна быть ответственность интервьюера как сосредоточия такого доверия со стороны рассказчика, насколько велико значение терапевтического эффекта глубинных интервью!

Еще один аспект воспоминаний, с которым мы столкнулись в ситуации интервью, — это момент временной дистанции эпизода, события от момента воспоминания о нем. В нашем случае — это ситуация отдаленной во времени памяти, которая наверняка отличалась бы от постстрессовой памяти. Ситуация постстрессовой памяти достаточно хорошо в настоящее время описана на примере событий 11 сентября в США [Hess, 2007]. В отдаленной памяти (а события Афганской войны случились для наших информантов в период их молодости, 25-30 лет назад) нет той горечи посттравматического синдрома, горечи возвращения и неприятия себя своей страной, психологических стрессов в общении с семьей и всеми, не бывшими на войне: всего того, что в свое время называлось «афганским синдромом» и хорошо описано на примере как Афганской, так и Вьетнамской войны [Сенявская, 1999]. Но здесь, в ситуации отдаленных

воспоминаний, при активизации воспоминаний участниками исследования закладывался другой скрытый смысл: «есть опасность забыть, уходят участники, страна молчит, забываются имена и события». В результате данная социальная ситуация относительно этой памяти такова, что переход от «живой» коллективной памяти к мемориально-культурной, внесубъектной, с уходом представителей этого поколения как носителей памяти может оказаться потерей уже исторической памяти. Отсюда у бывших афганцев появляется желание публично высказаться, писать мемуары создавать и другие материальные памятники под общим лозунгом «Кто, если не мы», в чем раньше они потребности совсем не испытывали, предпочитая общение в кругу «своих».

Отдаленная память проявляется и лингвистически в другом ключе: память о далеком болезненном опыте всплывает в рассказах респондентов как спокойный, эмоционально-нейтральный нормализованный дискурс: секвенционно-последовательный, как бы объективированный рассказ, разложенный на эпизоды, в основном сконцентрированный на событиях повседневности. Однако законченные эпизоды, связанные с наиболее травматическими моментами, со смертью и потерями товарищей почти не всплывают в рассказах как самостоятельные сюжеты, о них рассказывают опосредовано, только упоминая в ходе других сюжетов и тем. К этому аспекту мы вернемся в статье позднее.

Память и коллективная травма

Как мы можем судить о «травматизме» памяти и насколько правомочны говорить о «коллективной травме» в случае бывших Афганцев? Коллективная, так же как и индивидуальная травма, связывается с понятием утраты. Следствием такой психологической «потери» является скачкообразный переход из состояния «нормальности» в нестабильное, неустойчивое состояние, связанное с психологическим стрессом (З. Фрейд, С. Ушакин). Это понятие, разработанное Фрейдом для психоаналитических целей, можно перенести и в поле коллективной памяти [см. Травма: пункты, 2009].

В понятиях коллективной идентичности или общности можно говорить о коллективном травматизме или «раненой» коллективной памяти. Трактовка «утраты» в этом случае может касаться «утрат», связанных со властью, территорией, населением, образующих субстрат государства. Образы коллективной скорби могут иллюстрироваться траурными церемониями, вокруг которых спланируется народ, здесь переплетаются частные и публичные выражения социальной утраты и скорби. Именно таким образом в архивах коллек-

тивной памяти накапливаются и демонстрируются символические раны, рубцы, требующие исцеления [Рикер, 2004]. Продолжая мысль Рикера, можно сказать, что утрата и скорбь может иметь (и зачастую имеет) более локальный, не-национальный характер, где «утраты» одной группы, скажем, социальным или национальным меньшинством, не воспринимается в терминах утраты другой частью населения или большинством (например, репрессии в отношении одной национальности или гибель лидера определенного локального общественного движения).

Есть ли представление об утрате, травме в памяти и рассказах самих афганцев? Не навязываем ли мы как исследователи свои стереотипы на их представления в процессе интерпретации? Что можно характеризовать как следы травмы в случае афганского опыта? Сразу надо сказать, что прямых высказываний о травме мы в процессе исследования не получили. Как было уже сказано, рассказы носили достаточно спокойный, повествовательный характер.

Опосредованными, косвенными доказательствами наличия травмы можно назвать следующие. Во-первых, хорошо известно, что большинство бывших афганцев после возвращения прошло через этап посттравматического психологического стресса. «Через так называемый «афганский синдром» прошло около 70% офицеров. Кроме этого, около 75 % имели сложности в семье и разводы после возвращения в СССР, 60% прошли через приобщение к наркотикам и попытки самоубийства» [Сенявская, 1999. С. 38].

Однако, такое состояние как жизненный этап большинством уже пройдено, теперь мы ведем речь только о теперешнем состоянии их памяти. Для травматической памяти характерны наличие навязчивых идей (как и для индивидуальной памяти, так и коллективной), что является патологической формой внедрения прошлого в сердцевину настоящего, – то, что неотступно преследует, терзает память [Сартр, 2001].

Как мы уже говорили, полновесных эпизодов описания войны в воспоминаниях наших респондентов почти не было. Из их рассказов следует, что и при их теперешних встречах тема Афганской войны также обсуждается напрямую редко, только по определенным поводам или поминальным датам:

...Мы когда встречаемся, мы редко говорим о войне. Но это то, что всегда витает в воздухе и объединяет все другие темы (Интервью И.Т.С.).

Видимо, следует ожидать только скрытые, неявные нарративные формы проявления этой «вытесненной» травматической памя-

ти, своеобразные «ловушки» больной или раненой памяти, которые проявляют непроизвольно то, что хотел бы скрыть или о чем хотел бы умолчать рассказчик.

В их биографических рассказах и рассказе о периоде войны центральным риторическим приемом повествования является противопоставление, столкновение двух миров – войны и мира, столкновение с ситуациями смерти и страдания, боли, которые недоступны опыту «остальных», не бывших на войне, а это большинство населения страны того же поколения. Естественно, в обыденной речи об этом сопоставлении войны/мира не говорится напрямую. В речи респондентов такие термины «высокого» стиля заменяются нейтральными местоимениями, лишёнными каких-либо эмоциональных или других территориальных или социальных признаков: противопоставление «здесь и там»: «кто там был», «кто это видел», «кто имел такой опыт, только тот поймет» и, с другой стороны: «здесь потом много предательства было», «потому что там друг другу помогали, а здесь одно кидалово стало».

Но эти качественные характеристики «того», военного мира, присутствуют имплицитно, зачастую далеко разбросаны по разным эпизодам, но они составляют то поле наиболее значимых понятий, которое позволяет воссоздать образ «того» мира в глазах респондентов, а соответственно, и мир его отличий от мира «этого». Эта терминологическая вереница и позволяет восстановить основную ось противопоставления двух миров, в свою очередь, эта ось содержательно определяет понимание «утраты» в глазах бывших афганцев:

...Вот, кто прошел войну, он по-другому смотрит на мир, вот. Когда смерть¹ ребят, все это то, что он был только что живой, а тут уже... Все вот это, вот, вся эта шелуха, она соскакивает, вот (Интервью А.М.Н.).

Мы все, кто прошел Афган, нездоровые, ненормальные люди.

Мы ведь все помним, как у тех, кто попадал в Афган, сразу башню сносило.

Потому что большинство из нас потеряло своих друзей, своих товарищей, которые были вместе, и беречь эти раны никто не хочет (Интервью Д.Е.Г.).

¹ Здесь и далее по тексту: подчеркивание отдельных словосочетаний в цитируемых отрывках из интервью означает выделение морфем, наиболее важных для последующего анализа текстового источника — В.В.С.

...и подрывались.. кто-то видел смерть.. Это война.. это война. От этого никуда не уйдешь. То есть...она же будет постоянно преследовать» (Интервью А.С.Р.).

...веселое, беспашабиное, такое какое-то там, раздолбайство! (Смех). Вот это всё вспоминается... Об этом говорим. Эээ, а именно о боевых действиях – нет. Фактически нет...» (Интервью А.С.Г.).

...то, что мы там убивали, стреляли – это не наша вина, это вина нашего государства (Интервью В.С.Д.).

Государству мы нужны до тех пор, пока здоровые... которые могут держать оружие и убивать (Интервью В.С.Д.).

Здесь намеренно приведены отрывки из разных интервью. Об этих аспектах не говорится напрямую, они только отдельными, случайно вырвавшимися фразами, говорят о скрываемом, запрятанном. Убивать, стрелять, терять друзей, смерть, война, боевые действия, «грязное дело» — этот скрытый, рассеянный по отдельным нарративам, прямо не называемый центр дискурса памяти бывших афганцев, который составляет то сокровенное в памяти, что редко проговаривается в законченных эпизодах, но является травмой и противостоит миру тех, кто там не был. Это то, что оказало серьезное воздействие на дальнейший жизненный путь и поломало привычные до того жизненные установки. Общее ощущение, выраженное словами одного из респондентов — «я стал другим», — произошла «утрата» себя предыдущего, утрата того способа существования в «мирной жизни», который свойственен большинству сверстников и который стал водоразделом в их жизненных опытах (хотя и не всеми эта «утрата» воспринимается одинаково негативно):

Не знаю, (...) вот, я, по моему, стал лучше, вот лично я, вот, не то, что, вот, я как-то лучше, (с усмешкой) звучит совсем непонятно, но, как бы это сформулировать-то это, (...) стал, ну, другим стал, я, прям, просто переосмыслил все ценности, они совершенно другие – действительно (Интервью А.С.Р.).

Опыт войны, неизвестный большинству населения, можно сказать, стал неким процессом лишения «социальной невинности», грязным делом, куда они были втянуты по воле государства, пославшего их на эту войну. Но это тот центральный фокус тематизации памяти, который почти не проговаривается даже в коммуникативных взаимодействиях самих афганцев, это то, что «витают в воздухе» и объединяет их другие темы общения. Именно этот опыт и стал основой коллективной травмы и предопределил их отстраненность от мира «других». Сопротивление вытесненных переживаний

и воспоминаний находит свое отражение в завуалированной форме, в проскальзывающих высказываниях, поскольку процесс нормализации травмированной памяти так и не состоялся.

Последствия для идентичности: «мы» и «другие»

Именно по этому водоразделу войны и мира проходит конструирование границ их коллективной идентичности. Как мы уже говорили, коллективная идентичность выстраивается в диалоге с внешними, «чужими» по отношению к данной группе, по отношению к тем, кто представляет внешнюю угрозу, по мнению сообщества. В данном случае — это те, кто не имел опыт войны, то есть большинство, остальная часть мирного населения, те, кто не в состоянии понять пережитого бывшими афганцами¹. Поэтому их идентичность цепко формируется вокруг этой памяти и достаточно агрессивно настроена против мира «других» — публичному и официальному дискурсу по отношению к афганской войне.

В данном случае это нежелание делиться своими воспоминаниями или «переписывать» свою идентичность, доказывая какую-то свою точку зрения на прошлые события. В случае с афганцами, это отказ выходить на открытый диалог с другими, желание инкапсулировать свою память.

Границы их идентичности обозначены в нарративном ключе: как нежелание и невозможность говорить и рассказывать о своем опыте «другим». Общее отношение к «не-своим» выражается формулами: «не хотят слышать» и «не могут понять»:

Ну а с гражданскими никогда эту тему не поднимаешь. Вообще. И никто не знает. Ну вот я домой приезжаю, знают там одноклассники, ребята, друзья. Ну никогда я... Даже не хотелось заговаривать на эту тему (Интервью Д.Е.Г.).

...Тем более афишировать, ни в коем случае. Потому что никому это не нужно, и в первую очередь я считаю, что мне не надо: «Да я там воевал!». Ну и что, что воевал (Интервью А.М.Н.).

Никто не спрашивает, а чего рассказывать. Я имею в виду тем, кто не служил. Многие знакомые даже не знают, что я служил. Про войну (...) не каждый любит это слушать (Интервью А.С.Р.)

¹ Это является спецификой локальных войн, когда большинство населения продолжает вести мирную жизнь, а в военных действиях участвует меньшинство населения и война происходит на чужой территории, в отличие, например, от опыта ветеранов Великой Отечественной войны.

Вот, ну, может желание есть, но, я не знаю, поймут ли меня, а вернее, захотят ли услышать, вот. Понять-то, может быть, и поймут кому нужно, а так, захотят ли услышать, вот (Интервью А.М.К.).

«Не могут понять» является важным акцентом в этом разграничении на своих и чужих, о котором уже упоминалось ранее: в мирное время, когда вся нация находится в условиях долговременного мира, представляя себе войну только как образ победной, Великой Отечественной войны, *понять* их опыт «грязной войны» достаточно сложно: «*что говорить, они все равно не поймут*»:

На самом деле особого желания я не испытываю, потому что очень часто просто стену непонимания вижу. Ну что? Кто вас туда отправлял? Такие фразы... (Интервью В.С.Д.).

Это нежелание вступать в диалог вызвано определенными, в том числе социальными причинами: отношением к Афганской войне в публичном и официальном дискурсе, к этой проблеме мы вернемся в следующих разделах статьи.

Внутренне-групповой нарратив по поводу памяти также выстраивается по определенным нормативам и состоит из отдельных неписанных ограничений: о чем можно и о чем не следует говорить в разных ситуациях межличностного общения внутри своего сообщества.

В целом это нормативы можно разложить на три части: открыто проговариваемые сюжеты и типы повествований, скрытые, редко проговариваемые темы и сюжеты (только в особых случаях), а также внутренний монолог как память умолчания.

Открыто проговариваемые темы и сюжеты

Это повествовательные, хронологически-последовательные житейские рассказы о войне, особенно «как начиналось событие». Первичный шок в рассказах обычно связывается с попаданием на незнакомую территорию, другую страну и другие географические условия: «Другой мир», «как будто на другую планету прилетел», «дышится по другому», «запах другой», «красивая страна», «я удивился, какие горы там великолепные».

По типу повествования такой рассказ напоминает первые впечатления любопытного туриста, вышедшего в поход и впервые попавшего в другие широты и другой климат, впечатление особенно понятное с позиции молодых ребят, наверняка до этого никогда не бывавших за границей. Затем происходит привыкание, переход к обыденности, т.е. нормализация образа новой страны, а также и боевого образа жизни в сознании респондентов:

Стреляют. Реакция какая? Вот ты бы, наверно, испугался - сейчас убьют, туда-сюда, а мы: ребята, давайте спустимся. Спустились, и дальше ничего, сидим курим. Понимаешь? никакой реакции у нас нету (Интервью А.М.Н.).

Далее следуют описания войны как обычной работы:

И то же каждый день... как работа... Свистят пули — значит нормально.

И природа там красивая, и все, нормально было (Интервью Д.Е.Г.).

Фактически это описание мира повседневности, но повседневности мира войны и военных действий, где каждое действие описывается как рутинное, повторяющееся изо дня в день, когда привыкаешь к свисту пуль. Тенденция к норматизации нарратива о военном опыте проявляет себя и в другом виде — как стремление снизить общий накал повествований с трагичного, травматического на обычный, повседневный и даже комедийный. На вопрос, «а что вы с друзьями обычно вспоминаете, когда собираетесь?», следуют комментарии респондентов, связанные с их собственными объяснениями относительно памяти:

Да, вот всякие такие вот курьезные случаи, смешные вспоминаем. (...) Потому, что это — трагедия это, все это трагично, ну, на кой нам нужно вспоминать его? Вот. (с грустью). Оно, наверное, как-то... память блокирует в свое время, в смысле своевременно, вот, ну, а так, ну, вот, всякие хохмы (Интервью Д.Е.Г.).

Ну, вообще, это в принципе, грязное дело. Вспоминать это тоже не хочется, стараюсь вспоминать что-то смешное, веселое потому, что как-то дети спрашивают свои же. В школах когда что-то рассказываешь, ну, стараешься вспоминать что-нибудь (...) такое, более нейтральное (Интервью А.М.К.).

Потому, что, может, это было не так смешно тогда, когда это происходило с тобой, но рассказываем мы это очень смешно (Интервью А.С.Г.).

Ну, стараешься вспоминать что-то такое шебутное, веселое (Интервью И.Т.Д.).

Самое важное здесь замечание, пожалуй, последнее: не так смешно было тогда (тогда, говорит другой респондент, это была трагедия), но теперь, в воспоминаниях и рассказах о прошлом стараются рассказывать смешно, в виде анекдотов. Свойство травматиче-

ской памяти забыть, опустить на дно страдание и воспоминание о трагедийном, травматическом. Память сопротивляется попыткам вывести наружу и постоянно воспроизводить моменты травматического — сходная общая договоренность не говорить о трагедийном [Homans, 1989].

Редко проговариваемые темы и сюжеты

К таким сюжетам относятся темы и сюжеты, редко обсуждаемые между ветеранами:

Мы когда встречаемся, мы редко говорим о войне (Интервью В.С.Д.)/

Нет такого, чтобы мы циклились на этом, «вот, вот», это вспоминали постоянно...

Просто... часто, знаешь прошлое вспоминать не надо, надо сегодняшним днем жить. Это можно вспомнить.. да, конечно, когда собираешься. Надо жить сегодняшним днем, жизнь тяжелая (усмехается), нелегкая (Интервью А.С.Р.).

Моменты памяти по П. Нора (*lueis*) оживления или концентрации памяти среди афганцев обычно связаны с определенными датами поминовения погибших. Коллективными ритуальными датами в мемориальных сообществах бывших афганцев как моментами активизации и кристаллизации памяти, своеобразными календарными «местами памяти» все респонденты указывали несколько: день ввода войск, день вывода войск, день ВДВ, и еще локально для Москвы — день взрыва на Котляковском кладбище.

Эти даты и места поминовения (в основном кладбища) как концентрации сути коллективной памяти позволяют вычленить ценностное ядро и традиции этого меморизаторского сообщества:

Двадцать седьмое, например — это день ввода войск в Афганистан, двадцать седьмого декабря как раз день траура, и пятнадцатого — вывод войск из Афганистана, пятнадцатое февраля. И второе августа, день десантуры, ВДВ. Вот эти даты отмечаем (Интервью А.С.Г.).

Вот, пятнадцатое — это святой день. Ну, а в свое время, мы и с супругой ходили на Серафимовское, где есть памятник воинам в Афганистане, интернационалистам. Конечно, он достаточно такой... Ну, и там есть часовенка, ставим, соответственно, свечи (Интервью И.Т.Д.).

Едем кому-нибудь на дачу. На природу, делаем шашлыки с кем это служили и вот там, поем песни. Смеемся, где-то и поплачем. Всяко бывает. Но однозначно, в основном, мы это в основном, мы это делаем 2 августа. Это наш самый любимый праздник. День воздушно-десантных войск, и естественно, мы как афганцы собираемся. Просто ВДВ с кем служил, они все афганцы получаются. И в то же время десантники и афганцы (Интервью И.К.С.).

В интервью упоминаются в основном два ритуала коллективного поминовения погибших товарищей: один — это день памяти с посещением кладбищ и церкви для поминовения павших, второй — день вывода войск отмечается скорее как праздник, «святой день». Заметим, что все места поминовения сосредоточены в основном на кладбищах как местах памяти или в частном пространстве (дача), то есть вне публичного пространства или на его периферии.

Эта деятельность по увековечиванию жертв войны для бывших афганцев имеет особое значение, даже по сравнению с павшими в ВОВ, она широко представлена и в других сообществах бывших афганцев, в том числе в Интернет-сообществах. Ее можно охарактеризовать как персонифицированную память, когда память направлена не на увековечивание отдельных моментов или событий прошедшего (что естественно было бы ожидать от военных воспоминаний), а скорее на конкретных людей:

Да ребят погибших вспоминаем. Вспоминаю парня, с которым квартиру должен был делить. Вспоминаю жену его, я знаю еще, что у них был ребенок. Я вспоминаю Зуреко, соседа моего сверху. Он уже в Чечне погиб (.....) вот этих вот людей (Интервью Д.Е.Г.).

....Тем не менее... редко мы говорим об этом. Потому что большинство из нас потеряло своих друзей, своих товарищей, которые были вместе, и беречь эти раны никто не хочет, потому что зачем смотреть на плачущего пятидесятилетнего мужика. Зачем? Зачем трогать того же Сашу, который получил тяжелое ранение, потеряв двух своих друзей? (Интервью И.Т.Д.).

«Раненая» память всегда склонна сопоставлять себя с утратой (П. Рикер). Концентрацию этих «моментов» воспоминаний на поминовении погибших товарищей в данном случае можно трактовать как двойную «утрату»: с одной стороны, как социальную функцию, ощущение своего одиночества в социальном пространстве и понимание, что они единственные носители памяти, кто может хотя бы

одной строкой увековечить память о жертвах войны, с другой стороны — как личную потерю, гибель близких людей, товарищей по оружию. Такая практика «памяти о павших» характерна для всех меморизаторских сообществ, но в данном случае она подчеркивается тем, что «другие» — официальные органы или другие организации — почти не занимаются этим. Ощущение коллективного долга перед павшими — «кто, если не мы» — направляет их память в эту сторону, это не официальная «дань памяти павшим», но более локальная и интимная память о «своих», о друзьях: «Помнить своих друзей, и мы всегда делаем это, мы, мы никогда их не забываем». То есть ощущение «утраты» усугубляется еще и свойством «живой памяти», когда жертвы войны и те, кто их «помнит», находятся в одном временном поле сверстников, ровесников, друзей.

На сайтах в Интернете это поминовение еще сопровождается и краткими биографиями павших ребят, которые иногда в описаниях своих бывших однополчан приобретают идеализированные черты сакральных жертв той войны. «Недостаточность» памяти [Рикер, 2004] в публичном пространстве компенсируется переориентацией фокуса коллективной памяти с воспоминаний о событиях (битвах, победах и поражениях, что, казалось бы, было более логично для военной памяти) на рассказы о погибших. Это усиливает восприятие прошлого с позиции «принесенных жертв».

Память как внутренний монолог

Социопсихологический характер памяти афганцев в полной мере проявляется в третьем блоке их ретроспективного сознания, который можно назвать «память как внутренний монолог». Как следствие непреодоленной травмы и отсутствия возможности совершить психотерапевтическую работу по выходу из состояния травмы, открыто «проговорить» наиболее травматические моменты, остается существенная часть памяти, которая никогда не становится объектом коммуникации, даже в среде своих. Об этом *не принято* говорить, особенно в мужском сообществе: «кому хочется смотреть на пятидесятилетнего плачущего мужика?», как выразился один из наших респондентов. Именно в этом уголке памяти (молчащей памяти) сохранено все то, что «не хочется поднимать со дна памяти», как сказал другой бывший афганец:

У каждого свое видение войны, своя память. Каждый имеет право на собственные тайны и свои ощущения, которые он оставляет только для себя: кто-то не может простить себе, что не спас товарища, кто-то молчит о своих страхах (высказывание с сайта ветеранов Афгана) (Интервью Д.Е.Г.).

...Хотя в башке всё осталось, до того, что тут (неразборчиво), я хоть сейчас могу лист бумаги разрисовать, всё! Настолько в памяти цепко, каждую улочку, каждый переулок, каждую огневую точку, душманскую, где мы были, всё так у меня настолько всё в памяти сидит... И у всех так. То есть когда с ребятами, когда действительно тяжелые бои были... Всё! Оно как навеки сфотографировано... Ну в общем-то, вспоминать этого не хочется (Интервью И.Т.Д.).

Я сейчас уже не так...а одно время мне часто вспоминалось, когда у нас осталось 5 патронов на 4-х, (.....) (с усмешкой) если бы не разведка, мы бы здесь с Вами не сидели (смеясь). Вот, это и во сне снилось постоянно (Интервью А.М.К.).

...кто-то видел смерть... Это война... это война. От этого никуда не уйдешь. То есть...она же будет постоянно преследовать... поэтому... Об этом никто не говорит, и об этом никто не хочет говорить, потому что с одной стороны, нельзя, а с другой, никто и не признается... (Интервью А.М.Н.).

Данные высказывания наших респондентов подтверждают, что военные воспоминания, военная память, представленная в разговорах, в общении на уровне «открытого дискурса» в форме походных анекдотов и повседневных эпизодов и освобожденная в нарративах от груза трагедийности, на уровне «невывказанного» на грани сознания и подсознания, по-прежнему, остается объектом травматического переживания (*оно как навеки сфотографировано*). Как объект непреодоленной травмы, такие воспоминания остаются болезненной психологической раной, которая существует подспудно (*во сне снилось постоянно*), и которую каждый переживает в одиночестве в форме индивидуальных страхов и тайн. Этими воспоминаниями не принято делиться (*эти ощущения каждый оставляет для себя*). Хотя этот аспект памяти никуда не уходит, с течением времени не происходит процесса «примирения», совладания с травмой (*настолько все в памяти цепко*).

Хотя этот аспект памяти и не становится достоянием интеракций в процессе общения внутри сообщества, он является также частью коллективного взаимодействия и коллективной идентичности, поскольку существует на основе общего договора, некоей разделяемой всеми неписанной формулы о праве каждого на умолчание, на свои тайны: *«у каждого есть своя память»*. Но при этом всеобщем молчании каждый участник понимает: *«и у всех это так»*.

Социальная замкнутость бывших афганцев, невозможность внешнего диалога с «другими», с обществом препятствуют критическому осмыслению своей травматической памяти и усугубляют ситуацию непреодоленной травмы.

Память и долг: моральные аспекты памяти

Понятие «долга памяти» является одним из самых обсуждаемых и полемичных в дискурсе о памяти. С одной стороны, «долг памяти» можно рассматривать в терминах моральной ответственности «настоящего» в отношении прошлого и в интересах будущего при тематизации проблем исторического наследия и преемственности поколений (П. Нора). С другой стороны, как справедливо отмечает Цветан Тодоров, в реальности существуют возможности манипулирования понятием «долг памяти». Оно может трактоваться и использоваться как попытка объявить себя «жертвами» и требовать от «должников» возмещения понесенной утраты, возможно также различные тактики порабощения памяти в интересах сиюминутной идеологии [Todorov, 2003]. То есть с понятием долг памяти надо обращаться достаточно осторожно, понимая возможные его интерпретации для разных контекстов.

В рассказах бывших афганцев рассуждения о долге являются очень популярными и, естественно, трактуются всеми по-разному. Но сам факт частого обращения к понятию «долг» является весьма характерным для конструирования идентичности бывших афганцев как людей, прошедших войну не на основе добровольности, а по приказу государства (в том числе это и люди, бывшие до войны сугубо гражданскими – врачи, инженеры и т.д.).

Для них поговорить о долге – это повод поговорить об «истинных» афганцах, что важно также с исследовательской точки зрения при описании «типа» личности, наиболее важного с их точки зрения для меморизаторского сообщества:

...А так, встречаемся, потому что у нас есть чувство братства, чувство долга, и в случае серьезных каких-то осложнений, мы всегда приходим друг к другу на помощь. Более того, делается это абсолютно бескорыстно: никаких корыстных целей, никаких корыстных целей, никто ничего не ждет такого (Интервью В.С.Д.).

...И мы людей меряем именно той меркой, которая существует в нашем понимании – исполнении его человеческого долга (Интервью А.С.Г.).

Среди моих товарищей большинство тех, кто остался честным, преданным долгу и памяти наших товарищей, мы таких называем «истинным афганцем» (Интервью А.С.Р.).

То есть человек долга (как «долга перед памятью», сохранение верности братству и памяти погибших товарищей), является наиболее желательным личностным образом в их глазах.

В контексте рассмотрения пары противоположностей долг/предательство, отступление от долга (предательство памяти) рассматривается как эксплуатация памяти, использование Афгана и памяти в качестве «монеты», с помощью которой можно оплатить принесенные жертвы во имя теперешних финансовых или политических выгод:

Нельзя память и наши действия разменивать на деньги. Это слишком дорогое удовольствие, я считаю, для нормального человека. Для идиота, который хочет заработать, да, пожалуйста (Интервью И.К.С.).

Большинство ушли в коммерцию, просто вот накрыло волна коммерческая... Ну, срубил вот большие деньги, за границу уехал... Кто-то свое дело открыл, кто-то вот на том свете... Это все как в нашем государстве, не только у афганцев, это у всего нашего общества... Но есть как бы и доступные средства зарабатывать, а есть и недоступные, то есть это надо через кровь пройти, надо кого-то убить, захватить... Сейчас это рейдерством называется, раньше называлось по-другому совсем. И вот это, афганцы тоже через это проходят, потому что они же в обществе находятся (Интервью Д.Е.Г.).

Другим аспектом понимания долга представляются высказывания об участии в войне как выполненном долге. Они являются уже скорее коллективным вкладом в идеологизацию памяти о войне, в мифологию памяти об Афганской войне как «интернациональном» долге Советского Союза, и о себе как воинах-интернационалистах. Так демонстрируется их сохраняющаяся приверженность советской системе, остатки советского менталитета и советского патриотизма:

..осознание того, что я являюсь интернационалистом.

..Но мы там защищали интересы нашей страны. Мы выполнили долг с честью и достоинством. То, что мы там убивали, стреляли – это не наша вина, это вина нашего государства (Интервью Е.Р.В.).

В их представлениях о коллективном «мы» наиболее ярко отражена их теперешняя идентификация, даже безотносительно к прямому соотнесению с опытом прошлого, это моральная ориентация с сильным акцентом на чувстве долга, моральной помощи и единении на основе «родственных» отношений. Родственные отношения «братства» формулируются не просто как «дружеские» – друзья обычно выбирают в течение жизни, – а как генетически определенные, заданные природным родством (как семья, как братья, среди которых есть и хорошие, и плохие, «братство»), в данном случае благодаря «приписанности» их жизненного опыта к одному и тому же событию из национальной истории и к прошлому.

Память и общественный дискурс

В начале статьи уже говорилось, что идентичность бывших афганцев формируется в условиях четкого обозначения границ своего особого жизненного и исторического пространства, обособления от мира «не-своих», тех, кто не прошел опыт «войны в мирное время» и не хочет, и не может понять их видения мира. Здесь попытаемся рассмотреть эту проблему с противоположной стороны: с позиции более широкого социального дискурса, чтобы понять окончательно место памяти этого сообщества в общей ситуации памяти об Афганской войне и рассмотреть проблемы забвения, прощания, диалога, выйдя на более широкий социально-исторический фон памяти.

Афганская война относится к локальным войнам XX века, которые характеризуются тем, что это непопулярные войны, которые ведутся на чужой территории, участники таких войн зачастую вовлекаются в них недобровольно, но по воле государства, и такие войны обычно не имеют поддержки в народе и не являются предметом гордости для государства. Обычно Афганская война рассматривается на фоне сравнения с Вьетнамской войной, которую вели США в 1955-1975 годы на территории Вьетнама. В качестве основных травматических последствий локальных войн рассматриваются не прямые потери, но, прежде всего, тяжелые долговременные психологические последствия как для бывших участников, так и для общества в целом. В качестве таких последствий рассматривается например, «вьетнамский синдром» и, по аналогии с ним, – «афганский синдром». Они характеризуются посттравматическим стрессом непосредственных участников событий, а также тяжелым влиянием на общепсихологическое состояние общества [Сенявская, 1999]. Основным катализатором таких психологических последствий является то, что большинство населения продолжает вести мирный образ

жизни, а меньшинство из мирной жизни попадает в иной мир, в мир войны.

Дальше сравнение с вьетнамской войной могут служить только фоном для определения специфики социальной ситуации памяти в случае Афганской войны и общего дискурса отношения к бывшим афганцам. Официальный дискурс памяти об Афганской войне и, соответственно, отношение к бывшим афганцам, можно назвать неопределенным. Он постоянно менялся и имел определенную временную динамику: от замалчивания (первоначальный постпериод) до активной критики (начало 1990-х, на фоне критики всей Советской государственной системы и ее политики) и до теперешнего некоторого «потепления» и попыток реабилитации самих субъектов: бывших афганцев. Этот дискурс можно назвать формально-нейтральным, где ветераны-афганцы никак не характеризуются с позиции гордости или позора для национальной истории, но причисляются к безликой армии «ветеранов локальных войн».

В то же время публичный дискурс остался неизменным: в повседневности бытует формула: «Мы вас туда не посылали», что можно интерпретировать как снятие ответственности за последствия посылки войск в Афганистан и перекалывание ее на безличное «они». Согласно массовому социологическому опросу 2001 года 46% опрошенных считают эту войну «позором нации», тогда как среди афганцев такую позицию разделяет только 17%. С другой стороны, «выполнением интернационального долга» (то есть возможным предметом гордости нации) войну считает только 10% населения в целом, тогда как среди афганцев – таких 35% [Сенявская, 1999]. Суммируя эти данные, можно сказать, что налицо расхождение в оценке войны и ее последствий со стороны публичного дискурса и самих афганцев, что и предопределяет их резкую обособленность в границах своей идентичности и нежелание идти на диалог с «не-своими», о котором мы говорили в предыдущих разделах. Позицию публичного дискурса можно интерпретировать как осуждение войны и отсутствие сопереживания, эмпатии по отношению к бывшим ее участникам, что также не способствует формированию дискурса памяти об этой войне как в пределах официального (властного), так и публичного дискурса.

Закономерно, что сообщества афганцев являются единственным источником хранения «своей» памяти о войне, которая находится в противостоянии с памятью большинства населения и с государственной политикой, которая выстраивает эту память в соответствии со своими теперешними политическими интересами (появились и другие локальные войны, которые надо рассматривать в об-

щем контексте локальных войн). В рамках общества преобладающим является желание заблокировать память и предать это историческое событие забвению¹. И коллективная память ветеранов выстраивается как риторика противодействия этому дискурсу.

Ситуацию блокировки памяти на социальном уровне и попытку забвения можно охарактеризовать в терминах П. Рикера как ситуацию «недостаточности» памяти. С одной стороны, это политическая стремление общества и власти поскорей забыть эту войну, с другой стороны – нежелание самих бывших афганцев открыто вести диалог с «другими».

В результате и те, и другие страдают от «дефицита критики» и не достигают того, что З. Фрейд назвал работой воспоминаний, работой памяти. «Избыточность», также как и «недостаточность» памяти наталкивается на сопротивление, ведет к злоупотреблению памятью или злоупотреблению забвением² [Рикер, 2004. С. 118].

Увековечивание памяти, реконструирование или забвение является сложной социальной задачей выстраивания определенной конфигурации между этими тремя составляющими отношения общества к своему прошлому. Будь это память о достижениях или утратах, эту проблему невозможно решить при помощи простого переключения, подобного тому, о котором говорил один из наших респондентов, бывший афганец:

У меня были, да, вот пленки эти, Береты, как говорится, где-то долго, наверно, лет пять, у меня они были эти кассеты, а потом, что-то наверно, так, тоже как-то я не знаю....может быть...что-то у меня плохое настроение было... Я их взял и стер... Записал там другие песни, современные, там, каких-то соловьев, которые в деревне поют. Все, на этом память закончилась (усмехается) (Интервью А.С.Р.).

Память, особенно травматическая, никуда не уходит, она возвращается, терзает по ночам, заставляет объединяться в движения

¹ Свидетельством этому являются, например, современные школьные учебники по истории, где событиям Афганской войны уделяется всего несколько строк, несмотря на то, что события войны произошли совсем недавно, а война длилась целых 10 лет.

² Для сравнения такое состояние можно сопоставить с ситуацией «избыточной памяти» в случае другого военного дискурса, характерного для современной государственной идеологии – дискурса победы, связанный с Великой Отечественной войной: «Великая война», «Великая победа», где память о войне используется в целях увековечивания победы как основной гордости нации и главного ее достижения в XX веке.

«за» или «против» определенных трактовок памяти, сопротивляться угрозам ее искажения. Это активный вид деятельности, что заставляет говорить о необходимости «работы с памятью» как направленного коллективного социального действия, нацеленного на «проговаривание» травматического, на открытый диалог, через катарсис и «преодоление» болезненных воспоминаний в направлении к конечной цели – «примирению» с памятью.

Воспоминания привязаны скорее к определенным идентичностям, как разным субъективным позициям по отношению к свершившемуся, чем к самим фактам из истории прошлого [Вельцер, 2005], поскольку основу меморизации составляет не само событие, но эмоциональное совместное его сопереживание. Способы и типы наработки воспоминаний предопределены социальными притязаниями отдельных акторов или же их представлениями об угрозах или непониманием со стороны «другого», нарративы бывших афганцев являются хорошей иллюстрацией этого положения.

В современных исследованиях памяти подчеркивается тезис о множественности памятей как возможности различных представлений о прошлом, которые формируются в сознании разных социальных акторов, наделенных разным социальным опытом в прошлом и разными интересами в настоящем [Хальбвакс. 2005. С. 25]. «Случай» Афганской войны является одним лишь частным случаем наличия множественных памятей, при котором прошлое, как непроговоренное и недостаточно осмысленное, подвергается самым различными интерпретациям с разных сторон, наделяется различными смыслами и обрастает различными мифами. При этом и эти смыслы, и эти мифы зависят больше от настоящего и его интересов, чем от самого прошлого. Непроговоренная память так и осталась непроговоренной травмой как для самих участников, так и для общества в целом.

Описание полевых данных

Интервью А.М.К., 1960 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью А.М.Н., 1962 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью А.С. Г., 1967 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью А.С.Р., 1966 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью В.С.Д., 1943 г.р., военный специалист.
 Интервью Д.Е.Г., 1964 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью Е.Р.В., 1963 г.р., солдат срочной службы.
 Интервью И.К.С., 1958 г.р., кадровый офицер.
 Интервью И.К.К., 1957 г.р., кадровый офицер.
 Интервью И.Т.Д., 1945 г.р., военный врач.
 Интервью Н.М. С. 1960 г.р., кадровый офицер.
 Интервью Н.М.Ф., 1962 г.р. солдат срочной службы.

Список использованных источников

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Вельцер Х. История, память и современность прошлого: память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005 (40-41). № 2-3. С. 28-35.

Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004.

Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб.: Наука, 2001.

Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М: РОССПЭН, 1999.

Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: НЛО, 2009.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. №2-3 (40-41). С. 8-27 // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>.

Hess A. In Digital Remembrance: Vernacular Memory and the Rhetorical Construction of Web Memorials//Media, Culture and Society, 2007, №29, p.812-830//<http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/5/812>.

Homans P. The ability to mourn. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Oakeshott M. On History and Other Essays. Oxford: Blackwell, 1983.

Nikitina O., Rozhdestvenskaya E., Semenova V. Women's Biographies and Women's Memory of War // Hitler's Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe / Edited by Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld Oxford-New York: Berghahn Books, 2010. P. 273-284.

Todorov Z. Hope and memory: Lessons from the XXth Century. Princeton University Press. 2003.